



Каталог Пустых Дней

Терентий Залепукин

Терентий Залепукин

Каталог Пустых Дней

<https://litres.ru/74259774>

SelfPub; 2026

Аннотация

Медленная, тягучая, как петербургский дождь, проза о возвращении к себе через иронию, шахматные задачи и одно незапертое письмо...

Содержание

I Комната с одним окном	4
II Опись необитаемых часов	8
III Черновик, у которого нет конца	11
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Терентий Залепукин

Каталог Пустых Дней

I Комната с одним окном

Пробуждение после 40 похоже на возвращение в квартиру, из которой ты сам же, накануне, второпях вынес всю мебель, — узнаёшь стены, узнаёшь запах сырости в углу у батареи, но сесть решительно не на что, и приходится стоять посреди пустоты, покачиваясь, пока не вспомнишь, зачем вообще нужно было просыпаться.

Его звали Артур (ударение на первую А) Глебович Ней — фамилия досталась от прадеда, обрусевшего то ли шведа, то ли остзейского немца, и всю жизнь она казалась ему слишком короткой, слишком голой для человека его профессии: писателю нужна фамилия с запасом слогов, чтобы было куда падать курсиву на обложке. Он писал романы. Точнее — писал когда-то романы, три штуки, изданные, переведённые (один даже на финский, чем он втайне гордился больше, чем премией, полученной за второй), а после наступила пауза, которая длилась уже шестой год и грозила стать не паузой, а самой сутью его существования, тем базовым состоянием, из которого он время от времени по ошибке выныривал в жизнь.

Комната, где он спал, работал и — время от времени — жил, имела одно окно, выходявшее во двор-колодец такой правильной геометрии, что казалось, будто архитектор начала века задумал его как упрёк всякому, кто вздумает искать в жизни простора. Утром свет входил в комнату наклонно, узкой полосой, похожей на лезвие, которое кто-то забыл убрать в ножны, и полоса эта медленно, с достоинством перемещалась по вытертому паркету, пока к полудню не добиралась до ножки письменного стола — единственного предмета мебели, к которому Артур испытывал нечто похожее на нежность, хотя стол этот давно превратился в кладбище недописанных страниц, чашек с окаменевшей кофейной гущей и карандашей, изгрызенных до такой степени, что напоминали позвонки мелких вымерших животных.

Он лежал ещё несколько минут, изучая трещину на потолке — она бежала от угла к люстре с упрямством, достойным лучшего применения, и он давно уже дал ей имя, Ирина Аркадьевна, в честь школьной учительницы литературы, которая когда-то сказала ему, двенадцатилетнему, что у него «есть слог, но пока нет мысли», — фраза, которая преследовала его тридцать лет с настойчивостью более верной, чем у иной жены.

Кухня встретила его молчанием холодильника, в котором из съестного оставались горчица, треть лимона, покрывшего той благородной зеленью, что роднит гниение с плесенью на старинных гравюрах, и пакет молока, чей срок годно-

сти он предпочитал не проверять из чисто спортивного интереса — как долго можно пить нечто, уже, вероятно, переставшее быть молоком, но ещё не решившееся стать чем-то иным. Кофе он варил в турке, доставшейся от матери, — единственная вещь в доме, к которой прикасался с почти религиозной аккуратностью, потому что помнил её руки на этой самой ручке, помнил кухню в другом городе, другую жизнь, где кто-то ждал его к завтраку, а не наоборот.

Он сел к столу без четверти десять — ритуал, соблюдавшийся с точностью, достойной куда более продуктивного человека, — открыл файл под названием «роман_4_версия_последняя_точно.docx», перечитал последнее предложение, написанное одиннадцать дней назад, и почувствовал то особое, знакомое ему до тошноты ощущение, когда собственные слова смотрят на тебя с экрана как чужие, как будто их сочинил кто-то менее талантливый, но зато более уверенный в себе, чем ты сам.

«Дождь шёл над городом так, словно у неба закончились причины останавливаться».

Он перечитал фразу трижды. Один раз — с надеждой. Второй — с раздражением. Третий — с той окончательной, ледяной ясностью, которая приходит к людям его склада не в момент творческого подъёма, а именно в момент его отсутствия: фраза была красивой. Красивой и абсолютно, вопиюще пустой, как витрина закрытого магазина, где манекены по-прежнему одеты по последней моде трёхлетней давности.

Он удалил её. Написал заново — слово в слово. Посмотрел на часы. Было без четырёх минут десять.

II Опись необитаемых часов

Существует особый вид одиночества, который не нуждается в пустой квартире, — он прекрасно себя чувствует в переполненном трамвае, в очереди за хлебом, даже, страшно сказать, в постели рядом с кем-то, кого ты, теоретически, любишь. Артур открыл эту разновидность одиночества не сразу, но, открыв, полюбил её с той же обречённой преданностью, с какой иные любят свою болезнь, — потому что болезнь, по крайней мере, есть повод для того, чтобы ничего не делать с достоинством.

Он вышел из дома в третьем часу, купить хлеба и, если получится, себя — то есть какую-то версию себя, способную существовать среди людей без немедленного желания повернуть обратно. Дом стоял в переулке, где всё ещё сохранились булочная старого образца, аптека с латунной вывеской и киоск, торговавший, помимо газет, порнографическими журналами советской ностальгии — сочетание, над которым Артур размышлял годами, не приходя ни к какому выводу, кроме того, что человеческая пошлость обладает удивительной живучестью, куда большей, чем у самых стойких идей.

В булочной перед ним стояла женщина лет семидесяти, покупавшая ровно один батон и разговаривавшая с продавщицей о ценах так, будто от исхода этого разговора зависела не то оборона города, не то её собственная бессмертная

душа. Артур слушал этот разговор с интересом энтомолога, наблюдающего за муравьями, — не потому что презирал женщину (хотя, вероятно, немного презирал), а потому что давно перестал понимать, чем отличается его собственная жизнь от этого разговора о ценах на хлеб: те же несколько тем, повторяемые изо дня в день с вариациями, недостаточными даже для того, чтобы заметить, что это вариации.

Он называл это про себя мизантропией, хотя слово казалось ему слишком парадным, слишком литературным для того тихого, будничного отвращения, которое он испытывал не к людям вообще, а к определённомu их состоянию — состоянию довольства, замкнутости на малом, способности находить полноту жизни в разговоре о батоне. Он завидовал этой способности так сильно, что зависть маскировалась под презрение, — старый фокус, который он проделывал с собой годами и о котором знал ровно настолько, чтобы стыдиться, но недостаточно, чтобы перестать.

На улице моросило — не тот дождь, о котором он писал утром, а куда более прозаический, не имеющий никаких причин ни появляться, ни заканчиваться, дождь без метафизики. Артур шёл вдоль домов, чьи фасады он знал наизусть, и ловил себя на мысли, что мог бы пройти этот путь с закрытыми глазами, — мысль, которая когда-то показалась бы ему интересным наблюдением, поводом для абзаца, а теперь была просто фактом, таким же скучным, как факт того, что он до сих пор жив.

Дома он не считал: они давно потеряли для него индивидуальность, слились в одну длинную стену петербургского — или, если угодно, любого другого — образца, стену, которая тянулась вдоль всей его жизни, начиная с того года, когда он последний раз чувствовал себя частью чего-то большего, чем собственная квартира.

У подъезда он столкнулся с соседом, инженером-пенсией по фамилии Крутов, человеком добрым, скучным и совершенно счастливым тем особым, необъяснимым для Артура счастьем, которое даётся людям, никогда не задававшимся вопросом, зачем они встают по утрам.

— Пишете? — спросил Крутов, как спрашивал всегда, вкладывая в это слово ровно ту долю уважения, которую испытывают к профессиям, о содержании которых не имеют ни малейшего представления.

— Пытаюсь, — ответил Артур, как отвечал всегда, и в этом «пытаюсь» была вся правда его жизни последних шести лет, правда, которую он произносил так часто, что она перестала быть признанием и стала просто формулой вежливости, вроде «спасибо» или «до свидания».

Крутов покивал, удовлетворённый, и пошёл своей дорогой — к жене, к телевизору, к жизни, устроенной, как хорошо смазанный механизм, а Артур остался стоять у подъезда с хлебом под мышкой, глядя, как дождь усиливается, и думая о том, что зависть его, в сущности, не к людям, а к их способности не думать о том, о чём думает он.

III Черновик, у которого нет конца

Вечером он вернулся к столу, потому что стол был единственным местом, где ещё сохранялась хотя бы видимость смысла, — остальная квартира давно превратилась в декорацию, которую он передвигал по кругу, как актёр, забывший не только текст, но и то, какую пьесу играет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.